

Простимся с Жан-Жаком

1 В это почти невозможно поверить, но Руссо в какое-то время (1776 г.?) отчасти *одновременно* с «Прогулками одинокого мечтателя», сочинял *тайком*, зато повседневно, еще одну обширную, тоже предсмертную и тоже, конечно, автобиографическую книгу «Диалоги» (1772–1776), наплывшую в самый острый момент и перекрещивающуюся также с предыдущей фундаментальной и тоже оборванной «Исповедью». Ведь он уже давно был в состоянии писать только о себе.

Как это могло получиться хотя бы физически? Очень просто. По его словам, на это уходило минут 15 в день...

Я никогда не был в состоянии заниматься этим долго и подряд, что лишь усиливало тоску, если я не прерывал работу и не старался забыть о ней. Так что редко я отдавал ей более четверти часа в день, и эта манера писать урывками и с перерывами – одна из причин непоследовательности и постоянных повторений, которыми заполнено сочинение. Притом я уверен, что это *подобие музыки* (да, у Руссо есть нечто вроде идейного контрапунта. – Л. Б.) не было игрой, мне оставалось понять, что на деле это было необходимым по существу, и вот почему, обладая другими способностями, которые можно было бы применить с большей пользой для себя и для публики, я предпочел отдать предпочтение этому способу...²⁴.

Руссо, сочиняя «Прогулки», подвигал, наверно, поначалу к себе другую кипу листов, вписывал еще несколько фраз – и все, на сегодня достаточно. Полагать, что две книги никак не совпадали, вполне возможно. Но тогда придется объяснить, каким образом, мучительно занимаясь только диалогами и по 15 минут в день, он успел в указанные сроки, даже за четыре с лишним года, написать так много.

Кроме того, тем, кто считает диалоги «Руссо судит Жан-Жака» слишком бредовыми, кульминацией психического расстройства, нельзя забывать, что его *последним* трудом были не диалоги, а «Прогулки», гораздо более уравновешенные, в продолжение «Исповеди».

Уже название и жанр этой предпоследней и обширной книги диалогов сами по себе очень странны.

Впрочем, поражающее расширенное название значится только в рукописи, которую он передал для хранения и посмертной публикации аббату Кондильяку (р. 16). Первое полное издание появилось в 1782 г. Это была беседа с самим собой, и заголовок звучит так: «Руссо судит Жан-Жака. Диалоги», «Rousseau juge de Jean-Jacques».

«Диалоги», – всего их три, – тоже не известные при жизни автора, никогда не переводились на русский, и у нас мало кто о них слышал, кажется, никто и не исследовал их. В отличие от многочисленных западных авторов.

Я, естественно, не могу уклониться от их изучения. Чуть ли не все комментаторы в один голос уверенно считают их шизофреническими. Кроме, по-видимому, отчасти Мишеля Фуко, который предлагает исходить не из мнений современников, а только из самих текстов. Однако «семиотический анализ» именно «Диалогов» позволяет, по Фуко, не считать «незаконным» нахождение в них «мании преследования» (см. Intr., р. 25)²⁵. Сказано, слава богу, все же очень сдержанно. Я присоединяюсь к этому суждению – с горечью и большими оговорками (см. ниже).

2 «JJ», т. е. «Жан-Жак», это реальный автор, это Жан-Жак Руссо и все его сочинения. Он предмет беседы, но не ее участник. Диалог ведут «Руссо», иначе говоря, персонаж только данного текста, условно отделившийся от себя реального и вместе с тем неразрывный с Ж. Ж., – и некто «Француз» (le Français) как незаинтересованный сторонний читатель. Автор предупреждает, что под «Французом» подразумевается отнюдь не вся нация, а некий конкретный придуманный собеседник. Предлагаются такие замысловатые условия игры. «Француз» прекрасно знает в итоге все писания «JJ». И слышан о нем, но лично с автором незнаком. «Руссо», хотя и тождествен «JJ», будто бы не совпадает с ним и защищает его со стороны, «объективно»... Получается, что это раздвоенный Руссо. Он – и Руссо, и глядящий на себя же не-Руссо.

«Руссо» непредвзято судит о Руссо, порой растерянно и в итоге, конечно, с безусловной поддержкой.

«Француз», подобно собеседникам Сократа, нужен для внешней подсобной материализации внутреннего диалога. «Француз» отчасти возражает «Руссо», но, выслушав самые обстоятельные разъяснения, тут же соглашается с оппонентом и даже в похвалах «JJ» заходит гораздо дальше «Руссо», которому иногда приходится его сдерживать.

«Форма диалога показалась мне наиболее подходящей при споре между "за" и "против", вот почему я избрал ее» (р. 53).

Оценки этого опуса Руссо как «шизофренического», сводятся к следующему. Диалоги направлены против неких «Господ» (les Messieurs), никогда не называемых конкретно, ибо это – ВСЕ. «Все», но не каждый Это «философы» и любые, кто не желает понять Жан-Жака, и чиновники, и церковники, иезуиты и монахи. Это современное общество, свихнувшийся «наш век», участники *таинственного и совершенно не понятного* для Руссо всеобщего «заговора» («*complot*»), против него. Аргументация Руссо направлена лишь против тех, кто считал его «злодеем» («*shelerat*»)!

3 По схеме автора, «Ж. Ж. полагал, что необычный способ, при помощи которого с ним так обошлись, заслуживает серьезного разбора, прежде чем отбросить все это. Ж. Ж. верил, например, что все крушения судьбы, которые произошли после его роковой известности, это плоды далеко идущего заговора, который немногие лица держали в тайне, чтобы последовательно втянуть в него все нужное для его осуществления: грандов, авторов, врачей (это было незатруднительно), всех могущественных людей, всех галантных женщин, все авторитетные круги, всех тех, кто располагал административной властью, всех тех, кто влиял на общественное мнение. Он полагал, что события, происшедшие с ним, которые казались случайными и нечаянными совпадениями, были заранее обдуманными и последовательными действиями, которые в определенный момент находили свое место в общей картине» (р. 182).

Вот, собственно, упорно повторяемые моменты, которые производят впечатление безусловно фантастических домыслов. И не потому, что не было каждого из упоминаемых на протяжении «Диалогов» фактов. Они были. У них, по меньшей мере, существовали некие реальные основания – даже если Руссо говорит о возмутившем его портрете, заказанном Юмом, и разошедшемся в виде сделанных по нему гравюр, где он действительно выглядел неотесанным и непрезентабельным. Или об ожесточенных нападках на его статьи о музыке и проч.

Рискну высказать предположение, что фантазии и магия общего расчетливого заговора в немалой мере объясняются знакомой Руссо атмосферой интриг в верхах и желанием доискаться до *рационального* объяснения.

«Паранойя», если вообще можно говорить о ней в связи со старым парвеню, каким парадоксальным это ни покажется, порождалась привычкой к рассудительной интерпретации. По-моему, это горе не от безумия, а от ума. Кто-то,

кажется, уже писал это. Мания преследования, если можно так о ней говорить, есть преломление реального преследования. Руссо понимал, что поразительные тотальность, последовательность и неуклонность гонений должны были иметь какую-то объяснимую причину. Он такой причины не находил, желая гласного суда над собой. Он многократно спрашивает, какие же преступления совершил. Ответа не находится. Почему против него *все*?! И потому стократно звучат слова о том, что он «в потемках», что здесь какая-то «тайна». Слово «заговор» повторяется 49 раз, «лига» – 33 (Intr., p. 26).

На мой взгляд, именно поэтому он жил тогда в значительной мере в воображаемом мире. «Итак, вообразите идеальный мир, подобный нашему, но совсем иной» (p. 60). Как остроумно замечает Ф. Стюарт, «заговор был фикцией, даже если он действительно существовал», ибо Руссо находился в «умственных потемках...» (Intr., p. 28). Он впрямь никогда не мог понять, что произошло, в чем же состоит его вина, почему общество, ранее принявшее его восторженно, внезапно отвернулось от него. Не сражается ли он с «химерами». Слово «потемки» (*ténèbres*) повторяется постоянно (Intr., p. 26–27). Как и слово «тайна» (*mystère*)/ «*Ce esistème de secret et de ténèbres*» (p. 161). Он доискивался до прагматической «системы» невзгод. Он оговаривал, что идея заговора – это единственная приходящая на ум «общая гипотеза», которую он не в силах конкретизировать поименно потому, что всеобщность заговора таинственна.

Его «шизофрения» – это сплав горячности, рационализма (именно так!) и жажды справедливости.

Нам теперь все представляется более исторически глубоким, независимо от того, правильна моя концепция или ошибочна. Как писал Руссо, «я могу и ошибаться, потому что я человек». Он ошибался, но не на пустом месте.

4 Реплика в сторону.

А предреволюционное монархическое общество не страдало своего рода «шизофренией»? Безумная и жалкая политика Людовика XV-го? И его серого кардинала Флери. Скажем, во время подавления хлебных бунтов при Людовике XVI? Знаменитая фраза королевы Марии-Антуанетты о «пирожных» не свидетельствует ли о психических неполадках? Нет. Фраза звучит цинично. Но надменная мадам совсем не была дурочкой. И шизофренией тоже не страдала.

В итоге также Великая революция и внерациональный террор, ей сопутствовавший, разве не были своего рода якобинской «манией преследования»?

Что это такое? – ну, например, Робеспьер против Дантона.

Так же и с Жан-Жаком. Дело, во всяком случае, не состоит в изрядно расшатанной психике позднего Руссо. Это не причина, а побочный результат. Наложение воображения и подавленности на стрессовый и грубый ход событий.

Как, пожалуй, если расширять метафору (?), и якобинский террор против *вполне реальных* (либо мнимых и лишь подозреваемых) заговоров «врагов республики». Это явление не просто психическое, а *социально-историческое*. Кровь невинных людей лилась не потому, что Робеспьер, как и множество его преданных сторонников, был психом. А потому, что он считал себя ответственным за судьбу Франции и республики. Как, впрочем, и казненные по его приказу монархисты либо столь же страстные республиканцы, как и он.

Виновны всегда обе воюющие стороны, но отнюдь не симметрично, а по неумолимой причинной связи – прежде всего все же *те, чье правление сделало революцию исторически неотвратимой*.

Знаю, что в России сегодня далеко не все с этим согласятся. Советская привычка лгать ведь у нас сохраняется, конъюнктурно и быстро поменяв знаки. Теперь оч-чень бес-

страшные люди упоминают Ленина безоговорочно как неслыханного злодея, а белую гвардию, и тоже безоговорочно, изображают в ангельских и страдальческих одеждах. Клянутся на томике «Бесов», а оболганного в них либерального и раздумчивого Тургенева не перечитывают.

Между тем все было несопоставимо сложнее и противоречивей, потому что трагически фокусировало вековые узлы и разломы русской истории. Seriously анализировать подобные вещи приходится по логике взрыва, цунами, катаклизма – и притом в многовековой амплитуде накопления. Иначе выходит лишь перекрашенная конформистская советская риторика. Для беспристрастного жесткого анализа – воздуха не остается.

Это столкновение страшной массовой революции (а не какого-то якобинского либо большевистского «переворота») и такой же беспощадной и страшной ответной реакции (или наоборот). *Нависание каждой из сторон над бездной возможного поражения, устрашающее качание весов, очевидная негарантированность победы – создает во время восстания и гражданской войны болевую коллизию «беспредела».*

Ведь Клио, между нами, в такие времена питает некоторую слабость к «русской рулетке»...

К нашему Жан-Жаку все это, к счастью, не имеет ни малейшего прямого и непосредственного отношения.

Тогда в чем смысл этой неуместной вставки? Наверное, только в том, что мне захотелось как можно резче и шире выразить все ту же мысль об эпохально-переломных моментах, когда «несет нас рок событий». Руссо считал падение французской монархии и тотальную смену порядка вещей неизбежными. Прямо писал об этом. Но существенней и подспудней то, что происшедшая с ним и в нем метаморфоза «Я» была по содержательной сути предреволюционной. Не в прямом, конечно, смысле, но в горизонте различных факторов *модернизации*. Тут микроличное самосознание Руссо и пе-

реломное макрособытие открывшей путь к Новому времени Великой революции соотносимы и соразмерны по вектору.

С какой-то *метаисторической* точки зрения, «одиночество» Руссо значительней, важней его демократизма и республиканства. И тем паче своеобразия его характера. Вот истинный, хотя и окольный, серьезный *масштаб*, требующийся для оценок его поведения и судьбы.

Мне трудно сформулировать все это вразумительней.

5 В предварительном обращении «К читателю» Руссо пишет о невероятных трудностях, с которыми он столкнулся, когда взялся за эту работу.

Во-первых, в «Диалогах» приходилось касаться самых мучительных для него сюжетов; потому-то он и не мог писать о них долго и подряд. Он не перечитывал и не правил написанное.

Во-вторых, «непрестанно говорить о себе самом» и притом оправдываться было нелегко, не унижаясь. Ведь он выше жалких самооправданий. Далее, легко было высказывать собственные резоны, но как развернуть резоны, враждебные ему, если они находятся вне его сознания, если он, усердно стараясь быть объективным, не видит их?

Наконец, неловко и смешно было бы расхваливать самого себя.

Так понадобился придуманный «Француз» «*rouge mon autre interlocuteur*» («в качестве моего другого собеседника»). Это доброжелательный и искренний оппонент. Ему (т. е. себе) можно доверчиво раскрыть душу. Жан-Жак попытался сформулировать для него самые сильные из воображаемых негативных доводов против себя, хотя и был убежден в их несостоятельности.

Он знает, что «Диалоги» получились непомерно длинными, что читать их поэтому затруднительно,

следовало бы все сократить и упорядочить. Но всякий раз, когда он пытался выполнить это, на него наплывали ужасные воспоминания, и он не мог ничего поделать. Его несло.

«Что произойдет с написанным? Какую пользу оно могло бы мне принести? Я этого не знаю, и такая неопределенность сильно увеличивала обескураженность, едва не заставляя вовсе бросить работу». Тем более, что «в моем положении нет решительно никаких средств воспрепятствовать, чтобы они, рано или поздно, не попали в руки, мне враждебные» (Dialogues, p. 56–57). И, действительно, попали... Особенно через двести лет.

А у Руссо в его сегодняшнем положении тем паче «никаких средств воспрепятствовать».

Кроме написанного им.

Кстати, насчет судьбы разбираемого текста. Сперва Жан-Жаку пришла в голову совершенно сумасбродная мысль положить рукопись на алтарь Нотр-Дам. А затем будь, что будет. Вдруг там найдет ее король и защитит Жан-Жака... Опомившись, он передал ее, как уже было сказано, аббату Кондильяку.

И снова, снова. «В чьи руки суждено попасть этим страницам, но среди тех, кто их прочтет, может быть, сыщется еще человек, наделенный сердцем, этого мне будет достаточно, и я никогда не стану презирать род человеческий, если в идее, здесь изложенной, найдут какой-то повод для доверия и надежды» (Dialogues, p. 57).

Руссо прав. Сыщутся и такие люди.

Замечательно, что Руссо, более всего пораженный заговором молчания и беспримерным таинственным единодушием общества («Le silence profond universel, non moins inconcevable que le mystère qu'il couvre»), враждой к нему «вне здравого смысла, без предмета, без выгоды, без предлога», без какого-то рационального или хотя бы нарочитого объяснения, – все же сознавал (в отличие от безумцев дей-

ствительных) «абсурдность» всех своих подозрений насчет тайной интриги некой «клики», но не находил им замены. Ему представлялась беспрецедентной и абсурдной сама ситуация.

6 Прежде чем продолжать чтение «Диалогов», полезно все-таки узнать кое-что о том состоянии, в котором Руссо писал их – по впечатлениям новых друзей и поклонников, появившихся у него в Париже (см. *Intr.*, p. 9–10). Порой он их все же принимал или переписывался с ними, даже изредка бывал у них, пока внезапно не терял к кому-то доверие и не исторгал тут же из своего узкого, замкнутого круга.

По словам Бернардина де Сент-Пьера: «В его облике были заметны три или четыре признака меланхолии, сильно впавшие глаза и низко опущенные брови, глубокая грусть, избородившая лоб морщинами» Но часто можно было наблюдать «живейшую веселость, даже немного язвительную из-за множества маленьких складок вокруг крайних уголков глаз, расходившихся, когда он смеялся»²⁶. «Часто молчаливый и с виду мрачный, он подчас взрывался неожиданными и энтузиастическими порывами», по наблюдениям Дюзоль (Dusaulx) (*Intr.*, p. 8). Дюзоль, человек, глубоко преданный и восхищенный Руссо, считал, удивленный словами Жан-Жака, что тот желал бы найти безупречно верного друга, что он и есть такой друг. И гордился этим. Руссо постоянно расспрашивал Дюзоль, что тот о нем думает, и некоторыми ответами бывал недоволен.

Дюзоль пишет, что был поражен, как в одном теле словно совмещались две соперничающие души, грубая и любезная, попеременно одерживающие верх. Дюзоль спрашивал друга: «Если бы ты встретил другого Жан-Жака, смог бы ты ужиться с ним?». Но крайне недоверчивый писатель вскоре порвал и с Дюзолем. (*Ibid.*, p. 10).

Есть и другие сходные свидетельства. Нельзя не согласиться с профессором Стюартом, что «было нелегко быть другом Жан-Жака Руссо» (Ibid., p. 12).

Приходится вновь признать, что Руссо больше не верит «нежной химере дружбы» (p. 125). Загнанный Руссо последнего десятилетия жизни, конечно, во многом другой человек. Иногда впрямь похожа на паранойю страстность, с которой он отстаивает, разнообразно повторяясь, свою человеческую репутацию и достоверность идей, высказанных в его книгах и статьях, – против тайной «лиги», которая обдуманно и последовательно позорит Руссо в глазах человечества. «Все поколение стоворилось против одного, тотально изолированного человека» (p. 168).

Но обратимся все же к тексту.

7 Первый (и основной) диалог посвящен общим рассуждениям о человеческой природе и неистовой, горячечной защите от тех, кто считает его «чудовищем». Исходя из своих известных идей относительно необходимой и врожденной близости к природе, Руссо вносит в них новые акценты и построения. Мы ожидаем уже с первой страницы услышать изъяснения психопатических жалоб. А слышим пока что следующее.

«Вообразите идеальный мир, подобный нашему, но, тем не менее, совершенно иной». В нем обитают люди, следующие за своей природой. Нет ничего естественней для человека, чем «любовь к себе (l'amour des soi)», т. е. к своему благополучию и счастью. Такая любовь – «благая и абсолютная». Суть в том, что она порождена желанием ни в чем не вступать в конфликт с природной гармонией. Она зиждется на силе духа и активном саморуководстве. Нужно не исходить из чужих мнений, но независимо полагаться только на свои собственные. В основе любви к себе лежит та

же любовь, что и к другим людям, ко всему прекрасному, это распространение на себя универсального принципа любви. Мы, в отличие от толпы, ищем блага не в видимостях, но «в интимном чувстве». И опять: главное – не разум, как думают «философы». А воображение и мир эмоций.

Иное дело, если под воздействием обстоятельств и препятствий, по причине слабости и бездействия человек обращает «любовь к себе» в «самолюбие (*l'amour propre*)». Ибо самолюбие питается недоброжелательностью и даже ненавистью к другим. Оно ведет к скверне. Короче, это противоположные понятия, и они принадлежат разным мирам (р. 60 etc.).

«Француз» озадаченно перебивает: «Я напрасно ищу в своей голове, что могут иметь между собой общего фантастические существа, которых вы описываете, и чудовище, о котором мы толкуем битый час».

Руссо: «Ничего, вне сомнения, и я смотрю на это так же, как и вы. Но позвольте мне закончить» (р. 65).

8 Второй «Диалог» в основном заполнен сжатым обзором своего жизненного пути.

Вот одно из самых любопытных размышлений в прекрасно, как всегда, написанных «Диалогах».

Жаль, что я не могу здесь просто перевести целиком страницы 254–260 из второго диалога. Вообще-то их надо читать целиком, как они написаны, т. е. на одном дыхании. Но их сквозная мысль дана здесь в виде пунктира цитируемых мною мест. Урывки, как я все время считал, готовя именно эту книгу, все же лучше, чем пересказ, который может быть пристрастен и который читатель не в состоянии проверить. Тем более что данный оригинал русскому читателю пока недоступен.

«Все люди по природе ленивы. Их не оживляет даже собственный интерес. И даже самые насущные нужды за-

ставляют их действовать только медлительно и порывами. Но по мере того, как пробуждается самолюбие, оно их возбуждает, принуждает, оно беспрестанно удерживает их в напряжении, поскольку это единственная страсть, которая затрагивает всё в мире. Человек, в котором самолюбие не преобладает и который вовсе не ищет благ, далеких от него, это единственный, кто знаком с беспечностью и сладостным досугом, и Ж. Ж. – это именно такой человек, которого я могу знать. Нет ничего более однообразного, чем его манера жить. Он встает, ложится, ест, работает, выходит из дому и возвращается в одно и то же время, без желаний и без стремления что-то узнать. Все его дни протекают в одной и той же форме. Один и тот же день всегда повторяется. Рутинa занимает место всех иных правил. Он следует ей очень точно, без уклонений и без мечтаний ...

Так [внешне обстоит дело] по этим и другим наблюдениям, которые можно добавить при внимательном изучении природы и вкусов индивида, а оно необходимо, чтобы объяснить своеобразие его поведения (*la singularité de sa conduit*). Дело [все же] не в ужасах самолюбия, которые разъедают сердца тех, кто судит, никогда не приближаясь к самой сути. Дело в лени и беспечности, во враждебности к зависимости и тяготам, с которыми Ж. Ж. копировал ноты. Он выполнял свои обязанности тогда и так, как ему было угодно. Он не подчинял свои дни, свое время, свой труд, свой досуг никому, кроме себя ... Свободный от цепей фортуны, он умеренно использовал те реальные блага, которые ему выпадали. <...>

Эта манера жить была именно такой, для которой он был рожден ...

Конечно, я видел Ж. Ж., целиком погруженного в занятия, которые я вам описал, прогуливавшегo всегда в одиночку, мало думавшегo, много мечтавшегo, работавшегo почти машинально, непрерывно поглощенногo одним и тем же, никогда не отбрасывавшегo это дело. Но и куда более

веселого, более довольного, чувствовавшего себя куда лучше, [хотя и] ведшего такую жизнь едва ли не автоматически, использовавшего все время, ухोдившее на это занятие, такое жестокое для него и такое бесполезное для других, из-за грустного ремесла этого автора.

Но пусть не оценивают подобное поведение с виду и поверхностно. Хотя простая и рабочая жизнь не приносит радостей, она становилась возвышенной у знаменитого писателя, который умел ее подчинить себе» <...>

«Для Ж. Ж. она была естественной, потому что не требовала каких-то усилий или вмешательства разума, но оставалась простым импульсом темперамента, определяемым необходимостью ... без ложного стыда или пустого тщеславия. Чем больше я изучаю этого человека в подробностях его повседневности, в однообразии этой машинальной жизни (...) тем больше вижу, что этот способ жить (*cette manière de vivre*) был именно таким, для которого он был рожден. Из людей, которые всегда выглядят по-своему (*à leur mode*), получается то глубокий гений, то мелкий шарлатан, то чудо добродетели, то коварное чудовище, но всегда такое существо самое непривычное и странное. Природа делает из него только хорошего ремесленника, чувствительного, это правда. Пока он не превратится в замороженного прекрасным, преклоняющегося перед справедливостью, в короткие моменты высокого волнения способного к мощи и подъему. Но в привычном состоянии он был и будет оставаться в умственной инерции и машинальной деятельности; одним словом, он редкостен лишь потому, что прост».

В старости от переписки нот пришлось отказаться – но только в августе 1777 года! Стали дрожать руки и отказывались ему служить, почерк исказился. «Наконец я увидел Ж. Ж., полностью освобожденного от этих занятий», притом его поведение с виду не изменилось, хотя и стало ближе к его истинной природе.

9 В чем смысл этих длинных рассуждений, если отвлечься от противоречий, повторов и борьбы против «ваших Господ» (впрочем, густой только в первом диалоге)?

Центральное их понятие – «своеобразие», *la singularité* любого думающего и впечатлительного человека, и, пожалуй, это понятие позволительно считать ближайшим основанием и подходом к понятию «личность».

Это *его* поведение, *его* «способ жить». У каждого такого способа, порой «странного» для других и экстравагантно-го, существуют свои конкретные «мотивы». Их следует изучать и знать именно индивидуально. Так поступает «Руссо» с «Ж. Ж.», т. е. с самим собой. Он утверждает: «Это решение, такое простое и такое ясное для меня, удалило первоначальные сомнения, что я взялся за отдельного человека только для того, чтобы найти источник своеобразия этого человека, столь осуждаемого и столь мало понятого. Большая вина тех, кто его осуждает, состоит отнюдь не в том, что они совсем не знают истинных причин его поведения. Люди, тонко устроенные, никогда не вызывают сомнений. Однако это не означает способности их понять, проникнуть до конца в их сердца ... У людей даже самых уравновешенных можно сыскать тайные причины их экстраординарного поведения, и, напротив, это может быть их врожденным существом. У Ж. Ж. со всем этим мало общего. Но почувствовать это можно, только проделав внимательное изучение его темперамента, его настроения, его вкусов, всего его устройства (*sa constitution*)».

«...Причина ложных суждений относительно Ж. Ж. заключается во всегдшнем предположении, что он прилагает большие усилия лишь бы выглядеть иначе, чем другие люди (кажется, Руссо был знаком с книгой Старобински. – Л. Б.). Хотя, будучи устроен так, как он устроен, ему понадобились бы усилия куда большие, чтобы быть, как они. ...Всегда занятый самим собой или ради себя самого и слиш-

ком жаждущий собственного блага, он не имел времени помышлять о том, чтобы кому-то навредить, он не ведал тех ревнивых сопоставлений самолюбия, которые порождают ненависть... Я даже решусь сказать, что он был далек от злости просто по своему устройству, слишком чужд злостности, ибо его господствующий порок, наоборот, состоял в том, что он был занят собой больше, чем другими. Между тем как люди злобные, напротив, больше заняты другими, чем собой. Именно поэтому, если употреблять слово "эгоизм" в его правильном смысле, все они эгоисты, а он ничуть. Потому что не отклоняется от себя ни вверх, ни вниз, и личное смещение не необходимо для его блага. Все его помышления нежны, потому что он любит радоваться. О дурных ситуациях он думает только тогда, когда его к этому принуждают... Если же он принимается писать, как одинокий (soliter – хотелось бы перевести неточно: загнанный. – Л. Б.) человек, – это не касается наверняка ни "Эмиля", ни "Элоизы" ...они окрашены горькой желчью, которая их диктует. ... У него такое ощущение, что он живет в мире, и ему отнюдь не хочется поскорее оказаться в одиночестве».

Далее Руссо вновь пускается в тоскливые воспоминания о молодости, когда жилось иначе. Он в который раз старается разобраться в противоречиях своего характера. Он пытается убедить публику и себя в том, что никакие невзгоды не могли лишить его естественной оживленности, способности радоваться и бывать в одиночестве счастливым и нежным. Он утверждает, что его не смогли сделать несчастным, потому что он был выше обид, и если недруги думали о нем, то сам он думал не о них, а о себе. «Он не заслуживает похвалы за то, что умеет прощать оскорбления, потому что он их забывает. Он не любит своих врагов, но совсем не думает о них» (р. 269). И так – на десятках страниц второго диалога, страниц красноречивых и гениальных, но твердых, в общем, одно и то же. Это натужное самоутешение и отчаяние, которые слились в одно и вызывают у читателя

жалость и восхищение одновременно и, по правде говоря, непростительную усталость тоже.

Почему, почему те же люди, которые когда-то им восхищались и любили его сочинения, теперь бранятся, разве он не все тот же Ж. Ж.?

10 Переведа дыхание после самых долгих в этой работе выписок, мы не можем не заметить, что, хотя в «Исповеди» понимание «одиночества» было другим, положительно связанным с желанием сочинять и быть вне суеты, в общем и целом в «Диалогах» проведена та же идея полной свободы выбора манеры поведения. Уже так хорошо знакомая нам доктрина индивидуализма, т. е. самоуглубления и независимого своеобразия. Для Ж. Ж. были невыносимы не столько даже преследования властей и особенно разрыв со всеми столь дорогими в прошлом друзьями, сколько то, что никто из них не пожелал выразить ему в столь трудную пору уважение и сочувствие.

Этот мягкий и непреклонный человек с юности нуждался прежде всего в нежности и приязненности. И вот такая старость.

Простим же Руссо, что черная полоса сказалась на его суждениях и даже личности. Откажемся ловить его на явных противоречиях и несоответствиях в том, что он писал и думал раньше и теперь.

Это попросту неинтересно с *логико-культурной* или *культурно-исторической* точки зрения.

Для меня существенным кажется лишь то, что Ж.Ж. не изменил ни своим идеям, ни всегда ему свойственным, невероятным сложностям и столкновениям внутри души, ни последовательным доминантам личности – в любви и в разочарованиях, в славе и в изоляции, в оправданном ощущении загадочной (для него) выброшенности из общества

и даже из своего круга. Он доискивался до причин и думал, что его репутация опорочена – почти всеми и отовсюду.

«Паранойя»? Именно после тягостных «Диалогов» меня это больше не занимает. Я даже отчасти сожалею, что посвятил столько слов попыткам защитить Руссо от психиатрических оценок. И в «Диалогах» это лишь пелена, которая покрывает глубинные мощные слои самосознания и реальное положение писателя.

11 Пришло время снова, теперь уже в самый последний раз, спросить себя: что я думаю о положении и внутреннем мире старого Руссо?

Прежде всего – я это подчеркиваю – от исследователя, как и от любого читателя – требуется *сочувствие*. Руссо требует и умоляет, чтобы его выслушали и *поняли*. Пониманию следует быть в наши дни историко-культурным и историко-социальным. Так почему же нам этого не сделать взвешенно и пользуясь преимуществами «внеаходимости» (в бахтинском смысле термина)? Он ждет от нас ответа.

Конечно, «заговора» (или «лиги»), т. е. согласованных расчетливых действий неких «врагов», не было. Но множества письменных и публичных выпадов против Руссо – тоже не было? Не было чего-то вроде единодушия в этой позиции самых разных сил и людей, в том числе бывших друзей? Или, скажем, анонимный памфлет Вольтера против Руссо – был или не был? Или громкие обвинения Троншена, выставившего на всеобщее обозрение реальную интимную болевую точку души Жан-Жака? Или публичные нападки Юма? Или неприязненная и жесткая позиция, увы, Дени Дидро?

Руссо, в отличие от многих просветителей, ни разу не сидел в тюрьме, замечает Стюарт. Счастливчик! На что же он жалуется? Но был приказ об аресте из-за «Эмиля».

Было лишение звания «женевского гражданина» и запреты на проживание в Швейцарии. Было сожжение книг в городах Франции и Швейцарии. Был дикий погром в Мотье осата-невшей черни, подогретой церковью. Один камень упал близ постели, в которой спал Руссо. Запрет на печатание и публичные чтения даже в узком кругу. Никаких переизданий. Преследования всяческих властей, светских и духовных.

Идеи прежде всего «Эмиля» вызвали общее возмущение верхов. Они были особенно вызывающими из-за общедоступной романной формы. Трактаты могли кому-то казаться отвлеченными нелепыми умствованиями. Но тут-то все было наглядно.

Полностью индивидуально и экзистенциально окрашенная набожность Ж. Ж. и республиканизм отличали его от других просветителей, т. е. атеистов и преимущественно сторонников конституционной, а не абсолютной монархии. Но главное, чего не изведал никто из «философов», – полное молчание публики о нем – и это после гулко-го всевропейского эха. Выдержать говорение в пустоту, потерю понимающей аудитории было невыносимо.

И вот бегство из города в город, и проч.

И вполне реальное одиночество. Я часто это повторяю, потому что сам он повторяет это слово несравненно чаще. Для исследователей это предмет психологического, исторического и метафизического анализа. Но мы обязаны прежде хоть как-то попробовать мысленно пережить все это вместе с ним. Для Жан-Жака это не общее понятие, а интимная судьба (как когда-то для Овидия, но там-то все понятней и проще).

Судьба Руссо, как и вообще его фигура, уникальна. Основания для страхов, недоверия и непонимания, почему так произошло только с ним и началось уже с «Эрмитажа», были. У человека менее тонкокожего идея преследования не приняла бы такой лихорадочной навязчивой формы.

Но само преследование – было? Если никакого «заговора» не существовало в прямом и буквальном плане, то в самом широком и переносном он был – в смысле паразитического единоподушия общества – от парижского парламента и женевского патрицианского правительства до энциклопедистов и светских салонов, от кальвинистов до иезуитов.

Руссо, конечно, не мог понять, в чем он виноват перед *всеми*. Он напряженно и непрерывно доискивался до какой-то практической и разумной подоплеки. Но не «злодей» же он и, при всех изложенных в «Исповеди» слабостях и прегрешениях, неровностях поведения, он не преступник? Он считал себя (и справедливо) в целом мягким, чувствительным и очень хорошим человеком. Он жаждал публичного суда. Его мучило падение в глухую безвестность. Контраст с недавним прошлым ошеломлял. Никто не предъявлял ему причин и приговора, которые могли бы сплотить столь разные круги, столь несходные силы. И вот его исключительное воображение и вместе с тем потребность в рациональном объяснении – работают...

Тут какая-то тайна. Какой-то загадочный сговор. Руссо в непостижимых для него потемках. И он требует формальных и публичных обвинений. Но в ответ – опять и опять непроницаемое молчание. Слово его уже нет. Он защищает свою добропорядочность, он вновь и вновь разъясняет, каков он на самом деле. Но к кому он обращается? Ведь все остается в столе. Его до конца дней никто не услышит. А сегодня – все его не только слушают, но и слышат?

Он яростно защищает свою репутацию и право на личное своеобразие. И в этом плане, сам не зная об этом, попадает в историческую *сердцевинную* культурную точку модернизации.

Этого достаточно, чтобы признать за ним, в частности за «Диалогами», помимо гениального и затягивающего красноречия, некую интуицию. И этого вообще-то достаточно для того, чтобы, как говорится, «поехала крыша».

Вот вам и «паранойя» (в кавычках или без кавычек).

Вот то, что касается неких не называемых поименно «ваших Господ», «Месье», с которыми он в 60–70-е годы своего столетия отчаянно и небеспричинно сражается...

Что, само собой, по-прежнему не исключало масштаба и необычности личности Руссо. Как и тревожной прелести «Прогулок», как и новизны также некоторых его более ранних высказываний, силы его веры в свой гений, наконец, оригинальной конструкции и блестящего слога даже в сумбурной, но превосходной и душераздирающей работе «Диалоги».

Ах, черт с ней, с «допустимой» шизофренией.

Предложенные здесь соображения о культурной, социальной, исторической почве и значении индивидуализма Руссо не подрываются никакой его душевной смутой и психической неустойчивостью, некоторой неполной адекватностью в последние годы.

12 Далее (но уже более свободное и не поддающееся в рамках беглых высказываний строгому доказательству) следующее дополнительное рассуждение. Оно же резюме вышесказанного.

Мы убедились, что всю жизнь Жан-Жака можно четко разделить на три контрастных периода.

Первый длился 40 лет. Руссо мужал, проходил медленное возвышение от лакейской ливреи до роли образованного гостя знатных господ, жадно поглощал знания, сумел заставить оценить своеобразие своего ума, начал неуклюже входить в парижские салоны, сделал статьи о музыке для «Энциклопедии», влез в поэзию и драматургию, сочинял оперы – но не создал ничего замечательного и был, собственно, никем.

Затем вдруг непривычный дотоле порыв вдохновения, сочинение – по совету Дидро – на тему, предложенную Дижонской академией, и головокружительный взлет, новое

и гордое самосознание, европейская известность и влияние, и новые бессмертные труды. Например, «Юлия, или Новая Элоиза». Это самые плодотворные 50-е и начало 60-х годов столетия. Это «Эрмитаж», сближение с Терезой, безумное и несчастное увлечение Софи д'Удето. Благое «одиночество» и размеренное трудовое существование среди природы. Самый счастливый и плодотворный пик жизни, Громкое, хотя и недолгое, признание и успехи. И в то же время первые признаки социального спуска, бытовые интриги за его спиной доброжелательных друзей, обиды, попытки отстоять независимость своего неординарного уклада частной жизни.

«Новая Элоиза», «Общественный договор», «Эмил» и многое другое.

Нарастающее отвращение к светскому кругу и его ритуалам. Новые разрывы, в частности, с Юмом, и страдания в Англии.

Передышка в Мон-Луи под покровительством принца крови Конде и особенно четы герцогов Люксембургских.

Приказ об аресте и первое бегство – из Франции.

Тут следующий, не менее резкий и нарастающий перепад к третьему периоду – только уже вниз.

Притом остракизм человека, который узнал себе настоящую цену и поэтому гораздо большей страдал от чужой лжи и унижений. Он-то полагал, что теперь, когда он европейски признан, он заслуживает совсем иного обращения и положения (см. *Dialogues*, p. 156). Однако – не менее головокружительное, чем взлет к бессмертию, социальное падение, разочарование, связанное с Женовой, бессмысленное изгнание из Сент-Пре, ужас в Мотье и далее известное нам непрерывное бегство. словно бы судьба подтверждала существование «заговора». «Бессмысленное» изгнание, – как это прекрасно понимал сам Руссо, – потому что он прекратил тогда писать для публики либо (не без исключений) с кем-либо общаться, написанное им ранее все равно не могло быть переиздано или обнародовано, Между тем его *кон-*

цепция индивидуальной жизни вполне сохранена также и в обширных, лихорадочно написанных «Диалогах», которые необходимо рассматривать *вместе* с отчасти, возможно, синхронными, но последующими «Прогулками». А «Прогулки» – вслед за «Исповедью», куда нетрудно было бы перенести многие слова из «Диалогов».

Все поразительно последовательно и продуманно. Все осталось неопубликованным при жизни и все было незаконченным.

Нет, Месье, настоящий мизантроп, если бы столь противоречивое существо могло бы существовать, ничуть не укрывалось бы в одиночестве; какое зло может и хочет уготовить людям тот, кто живет одиноко? Тот, кто хочет им навредить, не должен для этого бежать от них. Скверные люди обитают не в пустынях, они живут в мире. Тот, кто их ненавидит, желает им навредить. Это здесь они интригуют и трудятся, чтобы удовлетворить свои страсти и истязать предметы своей ненависти (р. 190). Разве что те, кого принудили к одиночеству насильно? А если оно им по вкусу...

Необразованный лакей – Великий писатель и мыслитель – Изгой!

«Вот уже пять лет, как он [т. е. Ж. Ж.] вернулся в Париж (24 июня 1770 г. – Л. Б.)

До этого нелегально, под псевдонимом "Рену" он жил в Лионе, еще в 1768 году побывал в двух других городах Франции под разными псевдонимами, и все это благодаря покровительству принца Конде, умершего в 1776 г.

...и вновь начал жить здесь. Сперва, никоим образом не желая прятаться, он посещал некоторые дома, намереваясь возобновить свои старейшие связи и даже завести новые. Но к концу года он перестал наносить визиты и возобновил в столице одинокую жизнь, которую он так долго вел

в деревне. Он поделил свое время между сочинительскими занятиями, которые были ему еще по силам, и загородными деревенскими прогулками, которые составляли его единственное развлечение» (р. 194).

Разнообразие сводилось к переменам погоды. Он вернулся к своему «прежнему образу жизни». Былые знакомые вели себя сухо или нарочито, отнюдь не были ему рады (р. 195). Впрочем, «двери его оставались открытыми» для искренних и сердечных людей.

13 Мне меньше всего хотелось бы политизировать свою работу. Меня интересует как историка только Руссо и его век. Но все же слишком трудно воздержаться от ссылки на разительную сегодняшнюю актуальность социально-политических раздумий Руссо и его участи. Да, у нас, в России. Но совсем не только у нас.

Жаль, что невозможно множить и далее выписки из «Диалогов», в частности очень сильное завершение второй части. Опасаясь, что не успеет закончить едва начатый третий диалог, Руссо решает дать для начала длинный ряд выписок из различных своих трудов. Это крайне важно для исследователя уже потому, что показывает, каково было мнение самого автора о тех важнейших его высказываниях, в которых сконцентрирована суть социальных идей Руссо и которые вызвали наибольшее раздражение верхов и преследования. Я надеюсь, что «Диалоги» вскоре будут наконец изданы в русском переводе.

Но вот, к примеру, все же – признаться, взятое наугад – хотя бы одно самоцитирование Руссо, из «Общественного договора», здесь последнее, под номером «19» (р. 336).

Но если трудно хорошо управлять большим Государством, то это еще гораздо трудней, когда им управляет один человек. И каждый знает, что происходит, если

король передоверяет это подчиненным ему заместителям. Существенный и неустранимый недостаток, которым страдает монархическое правление по отношению к республиканскому, состоит в том, что голос общества почти никогда не доносится до высших постов, которые занимали бы люди просвещенные и способные справляться [со своими обязанностями] с честью. Взамен их те, кто преуспевает в монархиях, чаще всего лишь мелкие болтуны, мелкие плуты, мелкие интриганы, которым ничтожные способности, помогающие достичь при дворах высших постов, позволяют им лишь показать публике свою глупость, как только выскочки добьются своего. Народ очень мало обманывается относительно этого выбора, а человек, действительно достойный, почти так же редко попадает в министры, как глупец – в руководители республики. Если же, благодаря счастливому случаю, один из людей, рожденных, чтобы управлять, станет у кормила монархии, распадающейся из-за этой своры прелестных управляющих, все поразятся ресурсам, которые он изыскивает, и это составит эпоху для страны.

Интересно, когда и в какой стране это было сказано?

Руссо, уже в продолжение беседы с «Французом», добавляет, обладая на сей счет кое-каким собственным опытом: «Тот, кто так высказывается, должен ожидать жестокой мести от всех тех, кого оскорбляет правда, и он ожидает именно этого». Он ведь знал, что «гранды, визири, судейские крючки, финансисты, врачи, священники, философы, все люди этого сорта, которые превращают общество в настоящую банду, никогда не простят ему, что он их разглядел и показал такими, каковы они и есть...» (р. 367).

Мы и нынче можем назвать поименно немногих, кого «не простят». О, этот якобы сумасброд Руссо!

14 Последнее наблюдение. Или спорная фантазия, если угодно, поскольку речь идет не об основательном научном исследовании феномена, а всего лишь о беглом замечании. В XVIII в. ведущим и бесспорным властителем вольнолюбивых умов был, как всем известно, Вольтер. Но одновременно с конца столетия (достаточно вспомнить начало германской эпохи «бури и натиска», и особенно «Страдания молодого Вертера», похожие часто на парафраз из Руссо), и особенно в следующем веке, и в XX, его место (если иметь в виду лишь наследие Просвещения) занимает Руссо. В России, например, от «Дневника одной недели» Радищева и «Цыган» Пушкина – до Толстого с его учением и «Казачками», и Хлебникова, и футуристов. В том же минималистском направлении по-своему двигались музыка, живопись и проч. Вообще вновь и вновь приходит в голову, что из всех деятелей французского Просвещения наиболее долговременную и влиятельную вспашку культурной психологии, право, проделал именно Жан-Жак.

В прошлом веке наиболее ярко руссоистские идеи опрощения, возвращения к природе, шокирующего выхода за пределы любых принятых правил поведения и т. д. проявились, конечно, у хиппи. И все, так сказать, хиппиподобные признаки в манере одеваться, ночлежничать, любить, вообще вести себя – словом, смена неписанных кодексов поведения в частной жизни – экстремально усилились в наши дни.

Смешно сказать, но отказ от галстуков и распахнутые рубашки даже у президентов при публичном появлении, иступленный восторг вокруг принцессы Дианы, нарочито разорванные джинсы у молодежи, манера целоваться «взасос» публично, особняком нудисты (и промежуточная к ним topless), главное же – демократичное стирание контраста привычного внешнего облика и этикета между стратами, принципиальные сдвиги в «хороших манерах» и в просторечии интеллигентской среды, равно и сходные черты в массовом

туризме – что это, как не подчас примитивные и окарикатуренные отголоски руссоизма. Ведь подобные сдвиги попросту доступны и модны и никак не выделяют индивида, а напротив, смешивают его с толпой ему подобных.

Возможно, движение в этом направлении уже дошло до того предела, когда мы вправе задуматься о кризисе «опрощения» и неизбежности его глубокой коррекции.

Подобно тому как после абстрактной живописи последовало возвращение к новым типам предметности и от «конкретной музыки» – к тональному строю.

Ибо стилистика, лишившись каких бы то ни было правил упорядоченности и возможностей соответствующих аналитических оценок, зашла в тупик. Кажется неизбежным в дальнейшем и в быту, и в сфере различных перформансов отказ общественного мнения от диких перекосов и извращений.

Дело ведь дошло до художника (??), бегающего голышом по улицам, лающего и театрально кусающего прохожих, о котором говорят вполне серьезные люди; или до очаровательного граффити на питерском мосту, получившего *художественную* премию (взамен политического сочувствия) от жюри тоже якобы серьезных людей. Словом, до собачьего бреда (вдруг и почти буквально), выдаваемого за «культуру» или «свободу самовыражения». Такие вещи, разумеется, оставим за пределами темы. Кстати, психиатров они почему-то не занимают.

Что до прочих более или менее вменяемых форм нарастающего от века к веку демократического (или же псевдодемократического) опрощения, это может нравиться или раздражать, это не хорошо, не плохо, но это так. Я назвал бы условно все это «бытовым либерализмом». У него, однако, нет мощного врага в виде сословного этикета, что изначально исторически и вызвало к жизни опрощение. Теперь противоположный полюс – всего только «гламур». Поэтому переборы в будущем, пожалуй, обречены. Назад к Руссо? То

есть к опрошению культурно осмысленному и оправданному соответственно новым жизненным условиям.

Жан-Жаку, который незатейливо ужинал с Терезой за подоконником, такое и не снилось. Я понимаю, конечно, что с хиппи я забрался слишком уж далеко от Руссо. Да и читали ли они его? Руссо изумился бы, и рассмеялся, и разгневался при виде такого «опрошения». Представить их рядом с Руссо никак неasilyно. Но если спустаться по лестнице времен, то у основания лестницы кто же, как не Руссо.

Упоение «гламуром», напротив, – по сути, знак не противостояния пережиткам скованности и застывших форм быта, а, напротив, отката к архаике и мещанской реакции на опрошение. Непросвещенное, вульгарное и глупое восприятие того, что такое *compte il faut*. Адская смесь примитива и напыщенности, болезненно-ущербных претензий и безвкусицы. Притом «гламур» – при всей пестроте и эпатажности способов выделиться – тоже не выделяет подлинного личного своеобразия человека, а погружает его в смехотворное и – по существу архаическое – шоу.

15 Книга закончена. Но не угодно ли на десерт небольшую очаровательную выписку из «Диалогов» (р. 202)? «Он» – это Ж. Ж. И Руссо рассуждает о «нем», т. е. о себе. Но иногда путается в местоимениях, говоря «я».

Из всех людей, которых я знал, он был тем, чей характер наиболее полно определялся только его темпераментом. Это Ж. Ж. Он таков, каким его создала природа. Воспитание изменило его совсем мало. С тех пор, когда после рождения его способности и силы внезапно развились, он обнаружил, что немного добавилось к тому, каким он был в незрелом возрасте, и теперь, после шестидесяти лет горестей и нужды, [смены] времен, враждебности, – люди

видят, что он очень мало изменился. В то время, когда его тело стареет и дряхлеет, его сердце всегда остается молодым. Он сохраняет все те же вкусы и те же страсти, что и в молодости, и до конца жизни он не перестанет быть старым ребенком (*d'être un vieux enfant*).

Но этот темперамент, который придал ему моральную форму, обладает особенностями, которые, чтобы их распознать, нуждаются в самом неуклонном внимании, дабы было достаточно одного взгляда, брошенного на человека, чтобы уже уверенно понять его и судить о нем. Я могу даже сказать, что, благодаря своему простецкому внешнему облику (*son extérieur vulgaire*) и такому же, самому обычному виду (*de plus commun*), который больше подходил мне, – так я выглядел лучше и обрел в этом больше [своей] *своеобычности* (*le plus singulier*). Этот парадокс прояснится сам по себе по мере того, как вы будете слушать меня.

Я сделал все, что было в моих силах, чтобы быть прилежным слушателем. Книга могла бы называться «Парадокс Руссо».